

Борис Васильев

ОДНАЖДЫ НА СТАРОМ АРБАТЕ

Вероссийское театральное общество готовит к печати книгу «Первая Турандот» — о творчестве народной артистки СССР

Ц. Мансуровой. В нее вошли статьи, письма, воспоминания известных мастеров сцены, художников, писателей. Предлагаем вниманию читателей воспоминания писателя Бориса Васильева (публикуются с сокращениями).

В 1945 году я учился в Бронетанковой академии и был влюблен в некоего младшего лейтенанта. Младшего лейтенанта звали Зорей Поляк, и жила она у своих приемных родителей на улице Грановского. Там в огромной коммунальной квартире проживали сестры Цецилии Львовны, одна из которых и была приемной матерью Зори.

9-е Мая сорок пятого года... Слезы и песни, толпы людей и ошалевшая от счастья Москва. Это был не только великий День Победы — это был день общей любви, общей радости, общего горя, общего восторга. День великого братства и великой искренности: ничего подобного никогда не переживало человечество, и не дай бог, если ему когда-либо случится пережить подобное, ибо «билет» на Праздник Победы слишком уж дорого обходится людям...

В тот день никто не мог усидеть дома. Люди толпами валили на Красную площадь, на улицы, на заводы, в школы, институты, больницы, госпитали, воинские части. Шли с песнями и рыданиями, с криками радости, которые сами собой рвались наружу, и с непреодолимым желанием быть всем вместе. Все, кто пережил эту войну, кто выжил, тянулись друг к другу, обнимались и целовались, и куда делась столь свойственная нам всем холодноватая, вежливая (а чаще — невежливая) отчужденность?

Естественно, и я помчался в свою академию ни свет, ни заря. До Андроновки меня подбросил попутный грузовой трамвай, а дальше я бежал напрямик, переулками. В академии состоялся митинг, после него всех распустили. Мы ходили по улицам, пели, кричали и срывали со стен железные таблички с надписью «бомбоубежище».

А потом мы с Зорей пошли с поздравлениями на улицу Грановского. Мы всех поздравили, и все незаметно исчезли, оставив нас наедине. Естественно, мы очень дорожили этими минутами с глазу на глаз, как дорожат ими все влюбленные во все времена; это все понимали, и старались не мешать, в случае какой-либо необходимости высылая вперед маленького Диму. А в тот день вдруг со звоном распахнулась дверь, и мы не успели отпрянуть друг от друга, как в комнату ворвался вихрь. На ходу сбросив туфли, «вихрь» в чулках промчался по дивану и с разбегу повис у меня на шее:

— С Победой!..
Вот эту встречу с Цецилией Львовной я помню ясно. Помню, что я едва устоял на ногах, поскольку Мансурова оказалась довольно плотной; помню, как бурно она це-

ловала то меня, то Зорю, что-то восторженно говоря, смеясь, вытирая слезы и снова смеясь. Я стоял оглушенный, потому что такого смерча эмоций, живости чувств и шума я никогда доселе не испытывал.

Вот так Цецилия Львовна Мансурова и ворвалась в нашу судьбу: бегом по дивану. Ее порывы зачастую бывали внезапны, но всегда беспредельно искренни. Это был фейерверк, которому не только изумлялись и радовались, но при свете которого каждый освещенный видел самого себя. Во всяком случае я сейчас (стоит лишь чуточку воззвать к памяти) вижу самого себя, освещенного мансуровским фейерверком: худого, чересчур громкого и не слишком ловкого, с копной настолько густых пружинных волос, что на них никогда не держалась ни одна пилотка. Я иду по улице с Цецилией Львовной, но не рядом и не позади, а как-то боком, стараясь не только физиономией, но и всем существом быть «в секторе ее обзора». Этот крабый способ передвижения непривычен и неудобен: я семеню, сбиваюсь с шага, но не могу идти иначе.

...Так мы, к примеру, шли вскоре после незабываемого Дня Победы. Был теплый вечер, Цецилия Львовна заехала у родственников и приказала мне проводить ее. Я не оговорился: именно приказала, и когда Зоря выразила радостное желание прогуляться вместе с нами, ей было отказано столь же непреклонно:

— Вот ты, Зорька, мне сегодня совершенно не нужна. И мы пошли вдвоем из дома на Грановского в дом на В. Левшинском. Я волновался, как никогда в жизни, понимая, что это — проверка и что далее будет так, как «приговорит» Цецилия Львовна. Понравилось ей — останешься желанным гостем у Воллерштейнов, не понравится — и нам с Зорей придется встречаться, где угодно, только не там, если вообще придется. Я столько сил затрачивал на борьбу с волнением, что их уже ни на что не хватало: ни на то, чтобы все-таки попытаться понабраться, ни даже на то, чтобы связно поддерживать разговор.

Впрочем, тогда, во время той прогулки, от меня никаких разговоров и не ждали. Цецилия Львовна всю дорогу говорила сама, изредка перебивая собственные рассказы неожиданными вопросами, ответы на которые у нее никогда не хватало терпения выслушивать. Она рассказывала необыкновенно живо, с точными деталями, наполненными таким юмором, что я хохотал во все горло, поскольку всю жизнь отличался повышенной смелимостью. Так мы прошли по бульвару, свернули на Кропоткинскую, начали по ней подниматься, и тут случай неожиданно сделал нас участниками одного события, после которого, как мне кажется, Цецилия Львовна прониклась ко мне более дружескими чувствами, чем до него.

В то время по Кропоткинской ходил трамвай и путь его освещался куда интенсивнее, чем пустынные в тот поздний час тротуары. И вот в самом начале подъема Цецилия Львовна вдруг прервала очередную речь, схватила меня за руку и довольно громко сообщила:

— Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри!

По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я поискал подходящий камень, чтобы шарахнуть им по зверюге и тем самым покончить с этой проблемой, но Цецилия Львовна, продолжая крепко встряхивать мою руку, горячо убеждала спасти неразумное создание от гибели под колесами трамвая, который и впрямь заворачивал с бульвара на Кропоткинскую. Вдохновленный не столько любовью к братьям нашим меньшим, сколько горячностью Мансуровой, я бросился сгонять проклятую крысу с рельсов.

Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь, то ли не желавшая, то ли не имевшая физической возможности выбраться из глубокого желоба трамвайного рельса. За крысой, крича что-то вроде «Кыш!» и хлопая в ладоши, летел я. За мной почти впритык с пронзительным звоном спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару бежала Мансурова, громко требуя проявить сострадание к несчастному животному (я почему-то в эти минуты в расчет не брался). Так мы все четверо — крыса, я, трамвай и Мансурова — взбежали на подъем, и тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону, и мы с Цецилией Львовной некоторое время молча отдувались, не в силах произнести ни единого слова.

— Замечательно, — в два приема сказала Мансурова. — Я знала, что ты — человек неравнодушный.

..Тогда я, естественно, и не предполагал, что когда-нибудь свяжу свою жизнь и свою судьбу с искусством. Я пишу сейчас об этом потому, что если в те времена для меня была пора вопросов, то теперь настала пора ответов. И чаще всего приходится отвечать на вопрос: что же такое творчество?

Подобный вопрос задавал и задаю себе я и честно отвечаю: не знаю. Можно ответить научно, можно — парадоксально, но истины не будет ни там, ни там, ибо творчество есть проявление человеческой души, не закованной в латы возраста, пола, общественного положения, должности, привычек, рассудка, цинизма, снобизма и прочее, и прочее.

Тогда, может быть, творчество — это детство, застрявшее в человеке навсегда? И не просто, как заноза, а как уголек, способный зажечь окружающих, воскресить детство и в них, заставить их поверить в сказку тогда, когда они уже во многом разуверились, устали от быта и от работы, убеждены, что дважды два — четыре и что нет на свете ни добрых чудиков Лох-Несса, ни снежного человека, ни таинственных инопланетян.

И когда вдруг появляется человек, способный искренне верить, что картонная корона и впрямь делает его императором, испытывать адскую боль от найденного на сцене платка и обливаться слезами над вымыслом, начинается великое творение искусства в усталых душах людских. Хоть на миг, но и в них просыпается давно почивший ребенок, и слезы великого восторга перед этим чудом и великой благодарности к чудотворцам заволакивают тогда даже самые сухие, самые

холодные и самые недоверчивые глаза.

В искусстве безраздельно царствует Детство. Детская вера в игру и детская естественность в игре; детская жажда труда и детская доверчивость. И бегущая в гору Цецилия Львовна была в Детстве. Творчество и Искусстве одновременно и неразделимо.

В этой единой и неделимой триаде — искусстве, творчестве и детстве — и заключалось, как мне кажется, неповторимое актерское обаяние Мансуровой.

Еще до Дня Победы, до стремительного пробега Цецилии Львовны по дивану и неожиданного броска на мою неокрепшую сержантскую шею я стал частым посетителем Театра имени Евг. Вахтангова: начало относится к тому времени, когда вахтанговцы играли еще в здании Московского тюза. Из всего репертуара я больше всего любил «Много шума из ничего» и «Сирано де Бержерака». Я смотрел их множество раз во всех составах, знал наизусть, и все равно всякий вечер для меня это была премьера.

Повторяю, я не специалист и никоим образом не претендую на анализ творчества Мансуровой, но отлично помню свои ощущения тех лет. И дело заключалось даже не в том, что Беатриче любила Бенедикта — Симонова не так, как Бенедикта — Горюнова, а Роксана не любила Сирано — Симонова иначе, чем Сирано — Астангова; Мансурова сама, вне зависимости от партнеров, всякое сценическое мгновение была разной. Мне кажется, что ни на секунду не забывая, чьей жизнью она живет в данный вечер, Цецилия Львовна не забывала и о том, что она играет на сцене. Естественно, сценический реализм даже самого ортодоксального толка всегда подразумевает игру актера перед зрителем, но сила Мансуровой как раз и заключалась в том, что играла (именно играла!) она с абсолютной детской верой в игру, а значит, и всякий раз иначе, всякий раз по-новому, всякий раз ощущая свое право на импровизацию и смело пользуясь этим правом.

Помню, я как-то опоздал на «Сирано» и прибежал в театр на знаменитый монолог Роксаны. Я поднимался по лестнице, а по безлюдному гулкому фойе (кажется, вахтанговцы уже играли в своем театре на Арбате) переливался, рокотал, гремел, страдал и метался волшебный голос Мансуровой. В наши дни многие из очень талантливых актрис говорят на сцене, условно говоря, «не своим голосом», и, слушая их, я всегда невольно отбрасываю их голос от той героини, которую вижу перед собой. Голос делался чужим, существовавшим как бы сам по себе, отделенным от существа актерским приспособлением, а не актерской индивидуальностью. Возможно, я не прав, суждения мои, конечно же, субъективны, но голос Мансуровой вырос из самого существа ее таланта. У нее был романтический голос, придававший ее героиням не ту или иную характерность (или манерность, что тоже случается), но наполнял их души и сердца неистовой романтикой восторга и страдания...

Должен сознаться, что, обладая не только врожденной, но и воспитанной восторженностью, я обладаю и склон-

ностью к преувеличениям. Нет, не самих качеств, которыми восторгаюсь, а объектов моего восторга, искренне преувеличивая не только их таланты, но и, так сказать, их физические размеры. Ничего с собой не могу поделать и до сей поры. Люди, пред которыми я испытываю восхищение, кажутся мне больше, чем то есть на самом деле; для меня, к примеру, Л. Н. Толстой — почти великан, Пушкин упрямо возвышается над всеми своими современниками, и даже Цецилию Львовну я упорно продолжаю считать крупной женщиной, хотя прекрасно знаю, что это совсем не так, сам поправляю себя и сам же снова вижу ее недосягаемой. Такое искажение внутреннего зрения, зрения памяти, что ли, происходит не только потому, что я люблю любимыми мною людьми, но, как мне кажется, и потому, что сценический романтизм Мансуровой поднимал ее над зрительным залом, над бытом, над реальной действительностью и даже грешная Филумена ее витала в чистом небе, куда, как известно, никто не смеет бросить камень.

Безнадежное дело — пытаться воссоздать саму творческую душу артиста. Можно графически представить его фигуру, можно с помощью живописи — выражение глаз или лица; внешне проявление бующего внутри пламени. Но сама душа представляется мне мозаикой, где каждая частичка ослепительно красива и важна сама по себе, почему и сложить из этих частичек целое — задача невероятной трудности. Чаще всего вспоминаешь урывками, кусками, какими-то второстепенными деталями вроде того, что руки Цецилии Львовны никогда не знали покоя. Они жили как бы своей жизнью, то беспрестанно теребя платье, то растирая друг друга, то нещадно взбивая волосы. Руки рассказывали о внутреннем мире куда больше и откровеннее всего остального, но я ни тогда, ни теперь не могу расшифровать этот язык жестов. Ни у одной драматической актрисы не видел я более таких красноречивых, таких талантливых рук.

...Если я и видел после этого Цецилию Львовну, то встречи были случайными или семейными, а потому у меня нет ни прав, ни желания о них рассказывать. Время беспощадно даже к самым изумительным женщинам; оно шло, Цецилия Львовна практически оставила сцену, сосредоточив всю свою любовь и энергию на Щукинском училище. Уходили ее друзья и соратники, мир вокруг не только изменялся, но и пустел, переставал быть узнаваемым, переставал греть, светить, питать своей мощью ее щедро расходуемый талант, и вместе с этим миром менялась и Цецилия Львовна. Менялся даже ее голос: во всяком случае я с трудом узнал его, когда Мансурова в последний раз позвонила нам по телефону. Ей очень нравились «А зори здесь тихие...», она хотела читать их со сцены, но...

— Сделай для меня самый сокращенный вариант, я что-то плохо стала запоминать текст...

Я не успел сделать сокращенного варианта собственной повести. Если бы подчитать, чего мы не успеваем в суетной жизни своей...